

Александр Вейцман

МАНДЕЛЬШТАМ И ДРУГИЕ

•

Прислушайтесь: из пыльного угла,  
где некогда висели зеркала,  
доносится холодный и невнятный  
звук голоса, летящий к небесам,  
— и это сочиняет Мандельштам  
стихи про неизвестного солдата.

Прислушайтесь: послышится «Аминь»,  
как признак жизни там, где раньше жизнь  
тепилась, наделенная глухими  
и ветхими молитвами, жизнь та,  
что начинается с имени Христа,  
а завершается, совсем не помня имя.

Прислуш... опять идет январский снег,  
рифмуя прежним ямбом новый век,  
что кажется логичным, ибо ямбы  
одергивают время — шаг, вздох, взгляд —  
и в прошлое торжественно спешат,  
чтоб лечь под светом деревянной лампы.

•

Поль Сезанн, после спора с Золя, не заметил, что угол,  
нарисованный утром, впитал не полуденный свет,  
а случайную тень фонаря, под которым МакДугал  
пересек Бликер-стрит, из пейзажа пророча портрет.

В красно-черном костюме, слегка побледневшем в метели, ровным взором следя за полетом души мотылька, Арлекин был по-прежнему юн, и протяжную трелью удлинял Шостаковича в фуге, под гул «ХТК».

Это было не зеркале и не в окне: было это словно между, в пространстве, оставленном для старых стен, отрицавших акустику и дуновение ветра, отрицавших и краски, и то, что приходит взамен.

Он бы мог написать Арлекина, но вечером больше он склонялся к вину, а потом засыпал, кисть в руках машинально сжимая, во сне слыша голос «О, Боже!», как бы мог Шостакович во сне слышать эхо «О, Бах...»

### **ВРОНСКИЙ В ИТАЛИИ**

Четвертый день он писал портрет Анны.  
Задумывался, щурился и снова писал.  
Треножный мольберт подле венецианской рамы  
отражался в пыли зеркал

напротив, постепенно в эту пыль приглашая  
наполовину нарисованное лицо,  
в котором тоска по утраченному раю  
напоминала яйцо.

Четвертый день он писал. На горизонте  
заканчивался Петербург и начинался Рим.  
Издали доносились строки «Из Пиндемонти»,  
и краски стилем чужим

родные очертания преображали в мертвый  
взгляд, не жалеющий уже никого,  
за исключением сюжета старого офорта  
и пыли его.

Вронский писал. Жизнь не прекращалась. Анна отбрасывала тень на светлый фон, напоминавший обыкновенную поляну, переходящую в небосклон

пятого дня, и это было возможно лишь потому, что он еще не наступил и казался очаровательно безбожным днем неких новых сил.

•

Улисс вернулся домой, а дома опять ни души. На небе — ни сини, ни облака. Говорят, горизонт в глуши спешит за отсутствием света, и этим бросает фортуне существенный вызов в апреле, но чаще всего в июне.

Улисс спешит по соседям и тихо бормочет: «Когда меня покинет память и, значит, покинет беда?» Соседи его не слышат, но, видя диковинный профиль, кричат о победе в мае, как будто о катастрофе.

Улисс затем подумал: «Кем выдумана та западня, что миру дала Лаэрта, а Лаэрту дала меня?» И понял, что будет жить дальше, теперь, впрочем, не объясняя себе совсем ничего, помимо собачьего лая.

•

...и князь Мышкин завел разговор об увиденной казни, не спуская с Аглаи краснеющих в сумерках глаз, — о зеваках, спешивших к помосту, как будто на праздник, о монахе, что трясся в падучей, попутно крестясь.

«Если вспомнить рассвет — пробуждение сквозь просинь рассвета, казнь возможна лишь в городе с видом на море, когда крики чаек сливаются с красками раннего лета, а на смену агонии просто приходит вода.

Если вспомнить рассвет — счет идет не на дни, а на миги. Тьма едва позади, но вот-вот неизбежна, лишь жест палача превращается в тень, и сгорает интрига человеческой жизни на версты и версты окрест».

...и князь Мышкин продолжил рассказ. И Аглая смотрела в морозящую даль, сокращенную потом стекла, до которой, как ныне казалось, ей не было дела, ибо даль никуда не вела. Никуда не вела.